



**Ю. М. ЛОТМАН**

## **Отставка Чаадаева**

<...> Отношение различных типов искусства к поведению человека строится по-разному. Если оправданием реалистического сюжета служит утверждение, что именно так ведут себя люди в действительности, а классицизм полагал, что таким образом люди должны себя вести в идеальном мире, то романтизм предписывал читателю поведение, в том числе и бытовое. При кажущемся сходстве второго и третьего принципов разница между ними весьма существенна: идеальное поведение героя классицизма реализуется в идеальном же пространстве литературного текста. Попытаться перенести его в жизнь может лишь исключительный человек, возвысившийся до идеала. Для большинства же читателей и зрителей поведение литературных персонажей — возвышенный идеал, долженствующий облагородить их практическое поведение, но отнюдь не воплотиться в нем.

Романтическое поведение в этом отношении более доступно, поскольку включает в себя не только литературные добродетели, но и литературные пороки (например, эгоизм, преувеличенная демонстрация которого входила в норму «бытового байронизма»):

Лорд Байрон прихотью удачной  
Облек в унылый романтизм  
И безнадежный эгоизм).

Уже то, что литературным героем романтизма был современник, существенно облегчало подход к тексту как программе реального будущего поведения читателя. Герои Байрона и Пушкина-романтика, Марлинского и Лермонтова порождали целую фалангу подражателей из числа молодых офицеров и чиновников, которые перенимали жесты, мимику, манеру поведения литературных персонажей. Если реалистическое произведение подражает действительности, то в случае с романтизмом сама

действительность спешила подражать литературе. Для реализма характерно, что определенный тип поведения рождается в жизни, а потом проникает на страницы литературных текстов (умением подметить в самой жизни зарождение новых норм сознания и поведения славился, например, Тургенев). В романтическом произведении новый тип человеческого поведения зарождается на страницах текста и оттуда переносится в жизнь.

Поведение декабриста было отмечено печатью романтизма: поступки и поведенческие тексты определялись сюжетами литературных произведений, типовыми литературными ситуациями вроде «прощания Гектора и Андромахи», «клятвы Горациев» и пр. или же именами, суггестировавшими в себе сюжеты. В этом смысле восклицание Пушкина: «Вот Кесарь — где же Брут?» — легко расшифровывалось как программа будущего поступка.

Характерно, что только обращение к некоторым литературным образцам позволяет нам в ряде случаев расшифровать загадочные с иной точки зрения поступки людей той эпохи. Так, например, современников, а затем и историков неоднократно ставил в тупик поступок П. Я. Чаадаева, вышедшего в отставку в самый разгар служебных успехов после свидания с царем в Тропшау в 1820 году. Как известно, Чаадаев был адъютантом командира гвардейского корпуса генерал-адъютанта Васильчикова. После «семеновской истории» он вызвался отвезти Александру I, находившемуся на конгрессе в Тропшау, донесение о бунте в гвардии. Современники увидели в этом желание выдвинуться за счет несчастья товарищей и бывших однополчан (в 1812 г. Чаадаев служил в Семеновском полку).

Если такой поступок со стороны известного своим благородством Чаадаева показался необъяснимым, то неожиданный выход его в отставку вскоре после свидания с императором вообще поставил всех в тупик. Сам Чаадаев в письме к своей тетке А. М. Щербатовой от 2 января 1821 г. так объяснял свой поступок: «На этот раз, дорогая тетушка, пишу вам, чтобы сообщить положительным образом, что я подал в отставку. <... Моя просьба вызвала среди некоторых настоящую сенсацию. Сначала не хотели верить, что я прошу о ней серьезно, затем пришлось поверить, но до сих пор никак не могут понять, как я мог решиться на это в ту минуту, когда я должен был получать то, чего, казалось, я желал, чего так желает весь свет и что получить молодому человеку в моем чине считается самым лестным. <... Дело в том, что я действительно должен был получить флигель-адъютанта по возвращении Императора, по крайней мере по словам Васильчикова. Я нашел более забавным

пренебречь этой милостью, чем получить ее. Меня забавляло выказать мое презрение людям, которые всех презирают».

А. Лебедев считает, что этим письмом Чаадаев стремился «успокоить тетушку»\*, якобы весьма заинтересованную в придворных успехах племянника. Это представляется весьма сомнительным\*\*: родной сестре известного фрондера князя М. Щербатова не нужно было объяснять смысл аристократического презрения к придворному карьеризму. Если бы Чаадаев вышел в отставку и поселился в Москве большим барином, фрондирующим членом Английского клуба, поведение его не казалось бы современникам загадочным, а тетушке — предосудительным. Но в том-то и дело, что его заинтересованность в службе была известна, что он явно домогался личного свидания с государем, форсируя свою карьеру, шел на конфликт с общественным мнением и вызывал зависть и злобу тех сотоварищей по службе, которых он «обходил» вопреки старшинству. (Следует помнить, что порядок служебных повышений по старшинству службы был неписанным, но исключительно строго соблюдавшимся законом продвижения по лестнице чинов. Обходить его противоречило кодексу товарищества и воспринималось в офицерской среде как нарушение правил чести.) Именно соединение явной заинтересованности в карьере — быстрой и обращающей на себя внимание — с добровольной отставкой перед тем, как усилия должны были блистательно увенчаться, составляет загадку поступка Чаадаева\*\*\*.

\* *Лебедев А.* Чаадаев. М., 1965. С. 54.

\*\* Очень интересная книга А. Лебедева, к сожалению, не свободна от произвольного толкования документов и известной модернизации.

\*\*\* Племянник Чаадаева М. Жихарев позже вспоминал: «Васильчиков с донесением к государю отправил... Чаадаева, несмотря на то, что Чаадаев был младший адъютант и что ехать следовало бы старшему». И далее: «По возвращении (Чаадаева. — Ю. Л.) в Петербург чуть ли не по всему гвардейскому корпусу последовал против него всеобщий мгновенный взрыв неудовольствия, для чего он принял на себя поездку в Троппау и донесение государю о “семеновской истории”. Ему, говорили, не только не следовало ехать, не только не следовало на поездку набиваться, но должно было ее всячески от себя отклонять». И далее: «Что вместо того чтобы от поездки отказываться, он ее искал и добивался, для меня также не подлежит сомнению. В этом несчастном случае он уступил природной слабости непомерного тщеславия; я не думаю, чтобы при отъезде его из Петербурга перед его воображением блистали флигель-адъютантские вензеля на эполетах столько, сколько сверкало очарование близкого отношения, короткого разговора, тесно-

Ю. Н. Тынянов считает, что во время свидания в Троппау Чаадаев пытался объяснить императору связь «семеновской истории» с крепостным правом и склонить Александра на путь реформ. Идеи Чаадаева, по мнению Тынянова, не встретили сочувствия у царя, и это повлекло разрыв. «Неприятность встречи с царем и доклада ему была слишком очевидна». Далее Тынянов называет эту встречу «катастрофой»\*. К этой гипотезе присоединяется и А. Лебедев\*\*.

Догадка Тынянова, хотя и убедительнее всех других предлагавшихся до сих пор объяснений, имеет уязвимое звено: ведь разрыв между императором и Чаадаевым последовал не сразу после встречи и доклада в Троппау. Напротив того, значительное повышение по службе, которое должно было стать следствием свидания, равно как и то, что после повышения Чаадаев оказался бы в свите императора, т. е. был бы к нему приближен, свидетельствует о том, что разговор императора и Чаадаева не был причиной разрыва и взаимного охлаждения. Доклад Чаадаева в Троппау трудно истолковать как служебную катастрофу. «Падение» Чаадаева, видимо, началось позже: царь, вероятно, был неприятно изумлен неожиданным прошением об отставке, а затем раздражение его было дополнено упомянутым выше письмом Чаадаева к тетушке, перехваченным на почте. Хотя слова Чаадаева о его презрении к людям, которые всех презирают, метили в начальника Чаадаева, Васильчикова, император мог их принять на свой счет. Да и весь тон письма ему, вероятно, показался недопустимым. Видимо, это и были те «весьма» для Чаадаева «невыгодные» сведения о нем, о которых писал князь Волконский Васильчикову 4 февраля 1821 г. и в результате которых Александр I распорядился отставить Чаадаева без производства в следующий чин. Тогда же император «изволил отзываться о сем офицере с весьма невыгодной стороны», как позже доносил великий князь Константин Павлович Николаю I.

Таким образом, нельзя рассматривать отставку как результат конфликта с императором, поскольку самый конфликт был результатом отставки.

---

го сближения с императором» (*Жихарев М.* К биографии П. Я. Чаадаева // Вестник Европы. 1871. № 7. С. 203). Жихареву, конечно, был недоступен внутренний мир Чаадаева, но многое он знал лучше других современников, и слова его заслуживают внимания.

\* Тынянов Ю. Н. Сюжет «Горя от ума» // Литературное наследство. М., 1946. Т. 47–48. С. 168–171.

\*\* Лебедев А. Указ. соч. С. 68–69.

Думается, что сопоставление с некоторыми литературными сюжетами способно прояснить загадочное поведение Чаадаева.

А. И. Герцен посвятил свою статью «Император Александр I и В. Н. Каразин» Н. А. Серно-Соловьевичу — «последнему нашему маркизу Позе». Поза, таким образом, был для Герцена определенным типом и русской жизни. Думается, что сопоставление с шиллеровским сюжетом может многое прояснить в загадочном эпизоде биографии Чаадаева. Прежде всего, вне всяких сомнений знакомство Чаадаева с трагедией Шиллера: Каразин, посетив в 1789 г. Берлин, смотрел на сцене «Дон Карлоса» и дал о нем краткий, но весьма сочувственный отзыв в «Письмах русского путешественника», выделив именно роль маркиза Позы. В Московском университете, куда Чаадаев вступил в 1808 г., в начале XIX в. царил настоящий культ Шиллера\*. Через пламенное поклонение Шиллеру прошли и университетский профессор Чаадаева А. Ф. Мерзляков и его близкий друг Н. Тургенев. Другой друг Чаадаева — Грибоедов — в наброске трагедии «Родамист и Зенобия» вольно процитировал знаменитый монолог маркиза Позы. Говоря об участии республиканцев «в самовластной империи», он писал: «Опасен правительству и сам себе бремя, ибо *уного века гражданин*».

Выделенные курсивом слова — перефразировка автохарактеристики Позы: «Я гражданин грядущего века» (Дон Карлос, III действие, явл. 9).

Предположение, что Чаадаев своим поведением хотел разыграть вариант «русского маркиза Позы» (как в беседах с Пушкиным он примерял роль «русского Брута» и «русского Перикла»), проясняет «загадочные» стороны его поведения. Прежде всего оно позволяет оспорить утверждение А. Лебедева о расчете Чаадаева в 1820 г. на правительственный либерализм: «Надежды на “добрые намерения” царя вообще были, как известно, весьма сильны среди декабристов и продекабристски настроенного русского дворянства той поры»\*\*. Здесь известная неточ-

\* См.: Лотман Ю. М. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени // Учен. зап. Тартуского ун-та. 1958. Вып. 63. С. 71–76; Лотман Ю. М. Стихотворение Андрея Тургенева «К Отечеству» и его речь в «Дружеском литературном обществе» // Литературное наследство. М., 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 323–333.

\*\* Правда, тут же говорится, что Чаадаев «вряд ли уж слишком надеялся на добрые намерения императора». В этом случае автор видит цель разговора в том, чтобы «окончательно и бесповоротно прояснить истинные намерения и планы Александра I» (Лебедев А. С. 67–69). Последнее совсем непонятно: почему именно разговор с Чаада-

ность: говорить о наличии какого-то постоянного отношения декабристов к Александру I, не опираясь на точные даты и конкретные высказывания, весьма опасно. Известно, что к 1820 г. обещаниям царя практически не верил уже никто. Но важнее другое: по весьма убедительному предположению М. А. Цявловского\*, поддержанному другими авторитетными исследователями, Чаадаев в беседах с Пушкиным до своей поездки в Тропау обсуждал проекты тираноубийства, а это трудно увязывается с утверждением, что вера в «добрые намерения» царя побудила его скакать на конгресс.

Филипп у Шиллера — не царь-либерал. Это тиран. Именно к деспоту, а не к «добродетели на престоле» обращается со своей проповедью шиллеровский Поза. Подозрительный двуличный тиран опирается на кровавого Альбу, который мог вызывать в памяти Аракчеева\*\*. Но именно тиран нуждается в друге, ибо он бесконечно одинок. Первые слова Позы Филиппу — слова о его одиночестве. Именно они потрясают шиллеровского деспота.

Современникам — по крайней мере тем, кто мог, как Чаадаев, беседовать с Карамзиным, — было известно, как страдал Александр Павлович от одиночества в том вакууме, который создавали вокруг него система политического самодержавия и его собственная подозрительность. Современники знали и то, что, подобно шиллеровскому Филиппу, Александр I глубоко презирал людей и остро страдал от этого презрения. Александр не стеснялся восклицать вслух: «Люди — мерзавцы! <...> о подлецы! вот кто окружает нас, несчастных государей!»\*\*\*

Чаадаев прекрасно рассчитал время: выбрав минуту, когда царь не мог не испытывать сильнейшего потрясения\*\*\*\*, он

---

евым должен был внести такую ясность, когда она не была достигнута десятками бесед царя с разными лицами и многочисленными его заявлениями?

\* *Цявловский М. А.* Статьи о Пушкине. М., 1962 (в дальнейшем: *Цявловский*). С. 28–58.

\*\* Образ Альбы, обогранный кровью Фландрии, получал особый смысл после кровавого подавления чугуевского бунта. О чугуевском бунте см.: *Цявловский*. С. 33 и след.

\*\*\* *Шильдер Н. К.* Император Александр Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1897. Т. III. С. 48.

\*\*\*\* Вяземский в эти дни писал: «Не могу при том без ужаса и уныния думать об одиночестве государя в такую важную минуту. Кто отзовется на голос его? Раздраженное самолюбие, бедственный советник или ничтожные холопы, еще бедственнее и того».

явился к нему возвестить о страданиях русского народа, так же как Поза — о бедствиях Фландрии. Если представить себе Александра, потрясенного бунтом в первом гвардейском полку, восклицающего словами Филиппа:

Теперь мне нужен человек. О, Боже,  
Ты много дал мне, подари теперь  
Мне человека! \* —

то слова: «Сир, дайте нам свободу мысли!» — сами приходили на язык. Можно себе представить, что Чаадаев по пути в Троппау не раз вспоминал монолог Позы.

Но свободолюбивая проповедь Позы могла увлечь Филиппа лишь в одном случае — король должен быть уверен в личном бескорыстии своего друга. Не случайно маркиз Поза отказывается от всяких наград и не хочет служить королю. Всякая награда превратит его из бескорыстного друга истины в наемника самовластия.

Добиться аудиенции и изложить царю свое кредо было лишь половиной дела — теперь следовало доказать личное бескорыстие, отказавшись от заслуженных наград. Слова Позы становились для Чаадаева буквальным программой. Следуя им, он отказался от флигель-адъютантства. Таким образом, между стремлением к беседе с императором и требованием отставки не было противоречий — это звенья одного замысла.

Как же отнесся к этому Александр I? Прежде всего — понял ли он смысл поведения Чаадаева? Для ответа на этот вопрос уместно вспомнить эпизод, может быть и легендарный, но и в этом случае весьма характерный, сохранный для нас Герценом:

«В первые годы царствования Александра I <...> у императора Александра I бывали литературные вечера. <...> В один из этих вечеров чтение длилось долго: читали новую трагедию Шиллера.

Чтец кончил и остановился.

Государь молчал, потупя взор. Может, он думал о своей судьбе, которая так близко прошла к судьбе Дон Карлоса, может, о судьбе своего Филиппа? Несколько минут продолжалась совершенная тишина; первый прервал ее князь Александр Николаевич Голицын; наклоняя голову к уху графа Виктора Павловича Кочубея, он сказал ему вполслова, но так, чтобы все слышали:

\* Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. М., 1955. Т. II. С. 35.

— У нас есть свой маркиз Поза!»\*.

Голицын имел в виду В. Н. Каразина. Однако нас в этом отрывке интересует не только свидетельство интереса Александра I к трагедии Шиллера, но и другое: по мнению Герцена, Голицын, называя Каразина Позой, закидывал хитрую петлю придворной интриги, имеющей целью «свалить» соперника, — он знал, что император не потерпит никакого претендента на роль руководителя.

Александр I был деспот, но не шиллеровского толка: добрый от природы, джентльмен по воспитанию, он был русским самодержцем — следовательно, человеком, который не мог поступиться ничем из своих реальных прерогатив. Он остро нуждался в друге, причем в друге абсолютно бескорыстном (известно, что даже тень подозрения в «личных видах» переводила для Александра очередного фаворита из разряда друзей в презираемую им категорию царедворцев). Шиллеровского тирана пленило бескорыстие, соединенное с благородством мнений и личной независимостью. Друг Александра должен был соединить бескорыстие с бесконечной личной преданностью, равной раболепию. Известно, что от Аракчеева император снес и несогласие принять орден, и дерзкое возвращение орденовских знаков, которые Александр при особом рескрипте повелел своему другу на себя возложить. Демонстрируя неподкупное раболепие, Аракчеев отказался выполнить царскую волю, а в ответ на настоятельные просьбы императора согласился принять лишь портрет царя — не награду императора, а подарок друга.

Однако стоило искренней любви к императору соединиться с независимостью мнений (важен был не их политический характер, а именно независимость), как дружбе наступал конец. Такова история охлаждения Александра к политически консервативному, лично его любящему и абсолютно бескорыстному, никогда для себя ничего не просившему Карамзину\*\*. Тем

\* Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1959. Т. XVI. С. 38–39. Чтение, видимо, имело место в 1803 г., когда Шиллер через Вольцогена направил «Дон Карлоса» в Петербург к Марии Федоровне. 27 сентября 1803 г. Вольцоген подтвердил получение.

\*\* Пример Карамзина в этом отношении особенно примечателен. Охлаждение к нему царя началось с подачи в 1811 г. в Твери «Записки о древней и новой России». Второй, еще более острый, эпизод произошел в 1819 г., когда Карамзин прочел царю «Мнение русского гражданина». Позже он записал слова, которые он при этом сказал Александру: «Государь, в Вас слишком много самолюбия. <...> Я не боюсь ничего. Мы все равны перед Богом. То, что я сказал

более Александр не мог потерпеть жеста независимости от Чаадаева, сближение с которым только что началось. Тот жест, который окончательно привлек сердце Филиппа к маркизу Позе, столь же бесповоротно оттолкнул царя от Чаадаева. Чаадаеву не было суждено сделаться русским Позой, так же как и русским Брутом или Периклесом.

На этом примере мы видим, как реальное поведение человека декабристского круга выступает перед нами в виде некоторого зашифрованного текста, а литературный сюжет — как код, позволяющий проникнуть в скрытый его смысл.



---

Вам, я сказал бы и Вашему отцу. <...> Государь, я презираю либералистов на день, мне дорога лишь та свобода, которую никакой тиран не сможет у меня отнять. <...> Я более не прошу Вашего благоволения. Быть может, я говорю Вам в последний раз» (Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина. СПб., 1862. Ч. 1. С. 9. Оригинал по-французски). В данном случае критика раздавалась с позиций более консервативных, чем те, на которых стоял царь. Это делает особенно очевидным то, что не прогрессивность или реакционность высказываемых идей, а именно независимость мнения была ненавистна императору. В этих условиях деятельность любого русского претендента на роль маркиза Позы была заранее обречена на провал. После смерти Александра I Карамзин в записке, адресованной потомству, снова подчеркнул свою любовь к покойному («Я любил его искренно и нежно. Иногда негодовал, досадовал на монарха и все любил человека»), должен был признать полный провал миссии советника при престоле: «Я всегда был чистосердечен, он всегда терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им, большею частию, и не следовал, так что ныне, вместе с Россиею оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца, ибо милость и доверенность остались бесплодны для любезного Отечества» (Там же. С. 11–12).